

Э. Г. КАРХУ

**«КАРЕЛЬСКАЯ ТЕМА» В ТВОРЧЕСТВЕ НЕКОТОРЫХ  
ФИНЛЯНДСКИХ И СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ**

В стихах и прозе, в газетных очерках и устных выступлениях мы часто прибегаем к социально-историческому контрасту, сравнивая прошлое Карелии, «края непуганых птиц», с ее настоящим. Контраст этот разителен по степени убыстренности исторического процесса в последние сорок лет. Огромные изменения произошли не только в сфере политической и социальной, не только в развитии производительных сил края, но и в народной психологии — в области, которая непосредственно занимает художественную литературу.

Карелия в ее прошлом и настоящем имеет свою литературную летопись, хотя сама карельская литература относительно молода. О Карелии со времен Державина писали русские писатели, что более или менее известно нашему читателю по изданным хрестоматиям и отдельным исследованиям, даже если в этом отношении и не все еще сделано.

С другой стороны, Карелия, родина древних рун «Калевалы», уже издавна привлекала к себе внимание писателей Финляндии. С точки зрения более полного восстановления литературной летописи Карелии обращение к творчеству финляндских художников, писавших как на финском, так и на шведском языках, может оказаться бесполезным и не лишенным познавательного интереса. Так или иначе, в зависимости от идейно-эстетических воззрений, эти писатели отразили в своих произведениях отдельные черты карельского быта и народного миропонимания на определенных ступенях исторического развития. Это любопытно уже само по себе, но, кроме того, посредством сравнения прошлой литературной истории с нашим современным литературным движением мы сможем лучше понять и то новое, что внесли карельские советские писатели в изображение жизни своего народа.

В предлагаемой статье речь пойдет о том, как отражались в литературе те изменения, которые произошли в сознании когда-то патриархального карельского крестьянства, — сначала под влиянием медленного процесса зарождения капиталистических отношений в карельской деревне, а затем в силу революционных общественных сдвигов в советский период. Нас интересует, в частности, вопрос о том, как относились некоторые финляндские писатели к ускорившемуся в начале XX века распаду патриархальных связей в Карелии и как понимали они «пробуждение глуши», а с другой стороны, — как эти же явления изображаются в произведениях исторического жанра нашими карельскими писателями. Вместе с тем небезынтересно остановиться на некоторых литературных фактах, отражающих постепенное отмирание рудиментов патриархаль-

но-крестьянского мирозерцания и новое к ним отношение даже со стороны их носителей в условиях советской действительности.

Поскольку исследуемый материал в статье должен быть ограничен какими-то пределами, нами рассматриваются лишь некоторые произведения финляндской литературы, и то довольно бегло, а ссылки на книги карельских авторов, пишущих на финском языке, отнюдь не претендуют на всестороннюю оценку их творчества.

## I

Для финляндских писателей романтического направления Карелия при всей ее географической и этнической близости к финнам нередко была своего рода экзотическим краем, где жизнь во многих отношениях отличалась от финляндской. Это была страна древних песен и обычаев, бережно хранимых народом, не утратившим чувства природы и поэзии, что было свойственно лишь «естественным народам». А в Финляндии эта «естественность» уже утрачивалась под влиянием буржуазной цивилизации, и финляндским романтикам хотелось видеть в Карелии некий прообраз «детского периода» в истории собственного народа.

Правда, по сравнению с буржуазной Европой Финляндия в первые десятилетия XIX века еще сама была довольно патриархальной, что позволяло противопоставлять ее передовым капиталистическим странам. Но уже в начале 30-х годов Рунеберг, который, между прочим, описал в поэме «Охотники на лосей» карельских коробейников, с тревогой отмечал в одной из статей, что в некоторых областях Финляндии жизнь весьма близко напоминала европейскую. При этом он особо выделял западное побережье страны с многочисленными портовыми городами и торговыми центрами, противопоставляя этой части глубинные районы, где патриархальные отношения были более прочными.

Однако в последующие десятилетия капитализм в Финляндии делал заметные успехи, и к концу XIX — началу XX века в сознании отдельных писателей истинным приютом патриархального уклада жизни и идеальных человеческих отношений стала уже не Финляндия, а Карелия. Эта тенденция идеализации быта карельской деревни особенно обнаружилась в связи с возникновением в финляндской литературе так называемого неоромантического направления, для представителей которого было характерно неприятие как буржуазных порядков, так и нарастающего социалистического движения. В поисках выхода из противоречий буржуазного общества они неизбежно уходили в область несбыточных иллюзий, одной из которых была их приверженность к патриархально-крестьянскому укладу. Отсталая карельская деревня, столь близкая финнам, что, казалось бы, трудно было расцветивать ее романтическими красками, особенно после того, как финские реалисты 80-х годов уже в значительной мере преодолели идеализацию крестьянства, — эта карельская деревня тем не менее была окружена теперь условно-романтическим ореолом обетованной земли, поэтический образ которой должен был служить финнам напоминанием о счастливых временах, для них самих уже навсегда потерянных.

Для примера сошлемся на Лаури Ханникайнена, писателя второстепенного, но в книгах которого упомянутая тенденция получила наиболее полное и последовательное выражение. В 1917 году вышла книга его путевых очерков, написанных в 1909—1915 годы и объединенных общим заглавием «В краю умирающей песни».<sup>1</sup> Книга начинается рассказом

<sup>1</sup> L. Hannikainen. Kuolevan laulun mailta ynnä Pohjolan saloilta. Helsinki, 1917.



о том, как после долгих исканий автор, наконец, нашел «сказочную страну», о которой давно мечтал. Там нетронутая природа, люди чисты и невинны, их не испортила цивилизация. Страна — «за таежными лесами, за синими холмами» Беломорья. Оказавшись в ней, автор почувствовал, что перенесен в прошлое, «отдаленное тысячей лет». Ему кажется, что он полностью слился с народом этого края, находя забвение в общем труде и в общих радостях. «Иногда, вспомнив о своей прежней родине, он вдруг встрепенется, и в сердце его закрадывается страх при мысли, что все это лишь сон, краткий волшебный миг, который скоро минует. Тогда он с еще большей страстью предается прекрасной таежной жизни, чтобы совершенно забыться в ней. Она *не может* кончиться! Нет! Этому никогда не должно быть конца!» (курсив наш.— Э. К.) Но чувство непрочности этого волшебства не оставляет автора. Уверенности нет и у самих жителей края. Старик-карел, собеседник автора, говорит ему: «Да, теперь еще прекрасно. Но один бог знает, надолго ли. Зло проникает уже повсюду. Забывать стали заветы отцов, древнюю мудрость и силу. Многие деревни, где в пору моего детства все было как у нас: и люди братья, и взаимная любовь была, и помогали они друг другу, богов своих почитали, стариков уважали,— теперь настолько изменились, что и узнать нельзя. Все, что было доброго в старину, гибнет и уходит. Везде уже летает птица Туони, птица Смерти! Новые обычаи, чужие и скверные, приходят на место старых и добрых».

Но чем прозрачней была устойчивость этого замкнутого патриархального мирка, тем крепче привязывались к нему те, кто, питая отвращение к буржуазным формам жизни, был в то же время не в состоянии принять идею социалистического переустройства общества. В 1918 году, когда разразилась финляндская революция, Лаури Ханникайнен выпустил повесть «Отшельники на берегу таежного озера»,<sup>1</sup> в которой описал странствия двух сирот-батраков, бежавших от злого хозяина в северную Карелию, на берег пустынного озера, где сохранился скит отшельника-старообрядца. Жизнь братьев на лоне лесной свободы изображается автором в самых розовых красках: они сыты и счастливы, а в карельской деревне, которую они время от времени навещают, их встречают как дорогих гостей; они даже сумели разбогатеть от торговли пушниной. Все есть в этой повести, кроме одного: правды. Той большой правды, которая побуждает художника хоть в какой-то мере учитывать реальную перспективу исторического развития вместо того, чтобы нарочито противопоставлять ей искусственно суженный, микроскопический мирок, в прочности которого разуверился уже сам автор, хотя за неимением иных идеалов он и предпочитал воспевать отшельничество.

Но в литературном отношении Лаури Ханникайнен — явление довольно малозначительное, хотя и характерное с точки зрения предельной прямолинейности выраженной тенденции. У писателей более крупных и сложных сама эта тенденция проявлялась в более сложных формах.

О «таежных жителях» и, в частности, о Карелии много писал Илмари Кианто, более всего известный двумя романами — «Красная линия»<sup>2</sup> и «Йосеппи из нищего озерного края».<sup>3</sup> Кианто отличает от Ханникайнена уже то, что ему всегда была чужда идеализация таежной жизни. Стремясь изобразить ее во всей жестокой правдивости, с ее безмерной нуждой и трагическими превратностями, он не мог в такой степени, как Ханникайнен, отрешиться от реальных социальных связей, от классовой

<sup>1</sup> L. Hannikainen. Erakköjveläiset. Helsinki, 1918.

<sup>2</sup> I. Kianto. Punainen viiva Helsinki, 1909.

<sup>3</sup> I. Kianto. Ryysyrannan Jooseppi. Helsinki, 1924.

борьбы, хотя поиски положительного идеала неизменно приводили и его в область чистых иллюзий.

В начале XX века под влиянием революционных событий 1905—1906 годов Кианто выступил с рядом произведений незаурядной обличительной силы, пронизанных мятежными настроениями. Его стихи этих лет вошли затем в поэтический сборник «Бунтарь»,<sup>1</sup> вышедший в 1910 году. Вере в «прежних богов», поповской проповеди смирения, ханжеской христианской морали, оправдывающей гнет и социальное неравенство, Кианто противопоставлял «новые искания», которые должны были прозвучать как вызов старому миру. Он заявлял, что не знает ничего более благородного и величественного, чем «боевая уверенность в торжестве человечества». К этому времени относятся и некоторые его стихотворения о Карелии. Для Кианто этот край был не землей обетованной, а родиной страдающего народа. В стихотворении «Pro Karelia» он писал:

Siellä on tuhansia huokailevaisia,  
 tuhansia huolihihen hukkuvaisia,  
 itkeväisiä — kiroilevaisia,  
 elämän tuskissa turmeltuavaisia...  
 Siellä on köyhyyttä,  
 selkien köyryyttä,  
 siellä on alhaista, ainaista nöyryyttä;  
 sielujen orjuutta,  
 ruumiiden raihnautta,  
 siellä on kaikkea, kaikkea kurjuutta...  
 Siellä on tuhannen koettelemusta!  
 Siellä on vapauden aurinko — musta.<sup>2</sup>

Карелы, по мнению поэта, уповали на помощь «единоплеменной» Финляндии, но она сама была угнетена. В дальнейшем Кианто постепенно стал одним из активных пропагандистов «великофинской» идей. Этому посвящен его роман «Судьба беломорских карел»,<sup>3</sup> в котором описываются деятельность «Союза беломорских карел» и репрессии русского правительства по отношению к его членам, равно как и усилия властей противопоставить финнизаторским устремлениям более активную руссификацию. Автор романа не скрывает того, что профинская культурно-просветительская деятельность среди карел поддерживалась представителями имущих классов Финляндии, совпадая с интересами ее купцов и лесопромышленников. Забегая вперед, заметим, что эти исторические факты отразились и в произведениях Н. Яккола, однако, получили здесь уже совершенно иное освещение.

В упомянутом романе Кианто говорил лишь о «духовном» единении карел и финнов, поскольку политическое объединение, как он полагал, было невозможно. Уже в ту пору «великофинская» идея была достаточно реакционной, а в дальнейшем, после победы Великой Октябрьской социалистической революции, она приняла открыто антисоветский характер.

Справедливость требует, однако, сказать, что в начале века в условиях национального и социального угнетения, когда царская Россия все еще оставалась «тюрьмой народов», сочувствие Кианто к карелам определялось не столько национал-шовинистическими устремлениями, сколько идеями национально-освободительной борьбы всех поработанных

<sup>1</sup> I. Ki anto. Kapinoitsija. Kuopio, 1910.

<sup>2</sup> Там тысячи горестно вздыхают, тысячи гибнут в беде; там стонущие и проклинающие, падшие в муках... Там нужда и покорность, презренное смирение, рабство духа и немощь тела... Там море горя, тысячи испытаний, там потемнело солнце свободы.

<sup>3</sup> I. Ki anto. Vienan kansan kohtalo. Porvoo, 1917.



народов. Примечательно, что и освобождение финского народа Кианто в ту пору связывал с возможными социальными переменами в России. В одном из своих стихотворений («Susijuttu», 1908) он, имея в виду обстановку после поражения революции 1905 года, писал, что хотя на просторах России слышен «волчий вой» реакции, усиливавшейся и в Финляндии, тем не менее у финнов была еще надежда на «весну», которая наступит, когда в России снова вспыхнет борьба за свободу.

Silloin meilläkin valjeta vois  
Yö, joka nyt ei loista,  
Karjalan karhukin nousta pois  
Vuosisatojen soista...

Тогда и у нас кончится ночь,  
В которой нет просвета.  
Тогда и карельский медведь  
Воспрянет из вековых болот...

Silloin, Suomi, sulaos, oi,  
Viritä viimeinen virsi —  
Slaavien vapauslaulu kun soi,  
Kivvota kirottu kirsii!!!

Родина Суоми! Когда  
Раздастся славянский гимн о свободе,  
Тогда и ты запой последнюю песнь  
И разорви проклятые оковы!

Но в этом же стихотворении проявляется и политическое заблуждение Кианто, которое в конечном счете привело к тому, что, когда после победы Октябрьской революции финляндские трудящиеся действительно присоединились к «песне свободы», Кианто оказался в лагере контрреволюции. Заблуждение это выражалось в том, что при всем своем возмущении социальным неравенством, Кианто по-прежнему придерживался концепции «единого национального духа». Он сетовал на то, что внутри финской нации существуют враждебные политические партии, что внутренние распри ослабляют способность финнов к сопротивлению против натиска царизма, однако национальное единство мыслилось им не на пролетарской, а на буржуазной идеологической основе. Но с концепцией такого единства финский рабочий класс уже не мог мириться, и Кианто это чувствовал — отсюда та душевная раздвоенность, которая с наибольшей полнотой и искренностью выражена в стихотворении «Невольникам труда» (1906). Это своего рода политическая исповедь поэта, сочувствующего бедствиям рабочего люда, но не способного ни понять его классовых интересов, ни примкнуть к его борьбе. «Неужели я мог забыть тебя, труженик, — тебя, кто в поте лица возделывает землю отцов, валит сосны-великаны, вздымает валуны, осушает болота?.. Мне ли забыть тебя? Нет! Я не потерял совести, и страдает мое бедное сердце; краска стыда заливает мое лицо, когда думаю о том, какую несправедливость терпели веками мои братья... Я знаю и твою ненависть к господам, и твою ярость, и твои страшные замыслы. Я отношусь к ним с терпимостью и, хотя не могу прийти от них в восторг, но стараюсь понять, да — понять...» Но эта попытка понять ни к чему положительному не привела, и уже в следующей строфе того же стихотворения Кианто заявил, что хотя у рабочих есть причина ненавидеть, но нет основания прибегать к насильственным действиям. И как бы поэт ни уверял, что он сам противник гнета и вообще «всякой власти», тем не менее его не оставляла мысль, что все эти доводы не убеждают рабочих. Кианто даже допускал, что если бы насильственным путем все-таки удалось создать некое идеально равноправное общество «без власти», где бы не было ни господ, ни рабов, а «просто люди», то в этом случае, даже без особой надежды на успех, он готов был бы пойти за «угнетенными борцами» в качестве «рыцаря идеи». Но тут же он сознавал, что есть нечто отчуждающее его от простого труженика. «Ты не хочешь, чтоб я шел рядом с тобою? — Я знаю это. Я, видишь ли, из «господского» племени, сам вырос «господином» и опутан господскими клятвами. С этим не спорю, но все-таки позволь мне следовать за тобою

в сражении, хотя бы в резерве, чтобы толкать орудия в гору, если будет в том нужда,— да, если только будет в том нужда! Но я и на это не пригоден (меня ведь может задеть пуля и заставить трусливо бежать), то позволь мне хоть держаться поодаль как поэту или живописцу, чтобы я увековечил твои походы, прославил твой героизм, поведал о тебе потомкам...» Но и это не оправдалось: вернее, со временем Кианто действительно взял на себя роль летописца, но летописца белой гвардии, о чем свидетельствует его книга «С полей жизни и смерти» (1928).

Не уяснив логики исторического развития и не находя в себе сил примкнуть к рабочему движению, Кианто еще в стихах 10-х годов жаловался на духовное одиночество или же устремлялся мыслью в таежную глушь, где, как ему казалось, можно было забыть и общественные противоречия, и мучивший его разлад с самим собою. Но, касаясь темы «таежной жизни», Кианто и в этом случае не мог отрешиться от злободневных социальных вопросов. В романе «Красная черта» (1909) он описал и ужасающую нищету таежных крестьян, и пробудившиеся у них надежды на лучшую жизнь в связи с социал-демократической агитацией в период предвыборной кампании 1907 года, когда после реформы сейма и принятия нового избирательного закона все политические партии Финляндии боролись за депутатские места в новом, однопалатном парламенте. Крестьянам казалось, что «красная черта» в избирательных бюллетенях будет вместе с тем великой вехой в их жизни, водоразделом, который навсегда отгородит их от моря невзгод, открыв перед всеми бедняками новый мир, где нет ни нужды, ни гнета. Вот почему крестьяне с такой торжественностью и волнением брали в свои натруженные руки красный карандаш, стараясь как можно ярче провести эту «красную черту». И вот бюллетени были опущены в урны. Социал-демократы получили в парламенте больше мест, чем любая другая партия (восемьдесят из двухсот), но увы! — никакого рая в тайге не наступило. Герои романа, Топи Ромппанен и его жена Рийка, по-прежнему живут в ветхой избушке, толкут в ступе сосновую кору и ходят в лохмотьях. Изображая их разочарование, эту иронию судьбы, писатель впадает в фатализм. Тайга неумолима, человек бессилен и одинок в ней, как и в обществе,— всюду господствует закон жестокой и бессмысленной борьбы. Словно расплачиваясь за свои легковверные иллюзии, Топи гибнет в единоборстве с медведем: своей могучей лапой голодный царь лесов провел «красную черту» на горле голодного человека — таков финал таежной трагедии.

В романе «Йосеппи из нищего озерного края» (1924) тоже немало картин тяжелой таежной жизни, но здесь напряженные, хотя и безуспешные идейные искания Кианто, характерные для «Красной черты» и многих стихов 10-х годов, уже заметно ослабли. Новый роман был написан после революционной бури 1918 года, а она, несмотря на все восторги писателя по поводу «освободительной войны» белогвардейцев, в сильной степени углубила его скептицизм. Финляндия получила государственную независимость, но ни это событие, ни победа контрреволюции не улучшили положения «таежного жителя». В «Красной черте» речь шла еще о больших социальных надеждах народа, отчасти разделяемых и самим автором, а в новом романе Кианто уже ни на что не надеялся и потому мог дать только один выход социальным страстям и страданиям своих героев — в иронии над самими собою и над неразумностью мироустройства. В романе много выпадов против общества, но ни автор, ни его герои уже не верят ни в какие социальные силы, способные это общество обновить. Йосеппи, по словам автора, «и не буржуй, и не большевик», он просто «бедный человек», не признающий высокопарных



слов о правде, относящийся ко всему с юмором. В этом романе несколько странно звучит бравоирование автора своей аполитичностью и непричастностью к борющимся партиям в сравнении с некоторыми другими его заявлениями. Например, в предисловии к книге «С полей жизни и смерти» в 1928 году автор писал совершенно другое. Приведя слова «образованного социалиста», заявившего, что за все прошлые колебания писателя «социалисты отвернулись от него, а буржуи заморят голодом», Кианто откровенно заметил: «Помилуй бог, к бесцветным принадлежать я не умел»<sup>1</sup>. В период революции он весьма решительно избрал белый цвет, и над этим фактом, равно как и над самим признанием писателя, стоило бы призадуматься тем, кто и по сей день отстаивает принцип независимости художника от политики.

Как в «Красной черте», так и во втором крупном романе Кианто финал трагичен. Топи Ромппанена разодрал медведь, Йосеппи был раздавлен свалившимся на него деревом. Смерть его нелепо трагична не потому, что она результат слепого случая, но потому, что и при жизни он не нашел себе места в обществе, ничего не понял, ни к чему не пристал. У него не было никаких общественных устремлений, жизнь его кажется столь же бессмысленной, как и смерть.

Только с позиции социалистического мировоззрения стало возможным показать «пробуждение глуши» в верной исторической перспективе, не впадая ни в идеализацию патриархально-крестьянского быта, ни в пессимизм. Весьма показательна в этом смысле эволюция «карельской темы» в творчестве М. Пришвина. Книга очерков «В краю непуганых птиц» (1907) — это наглядное свидетельство того, что и молодой Пришвин пытался найти в Карелии какие-то особые формы общежития, еще не разрушенные буржуазной цивилизацией. Объясняя мотивы своей поездки в «Выгоречию», автор указывал, что ему хотелось «отвести душу» где-нибудь в глухой стороне, куда не доходило влияние городской культуры. Правда, он уже по опыту знал, что в России больше не оставалось таких углов, «где бы не было урядника», однако в Выговском крае он все-таки надеялся еще встретить людей, которые бы «не отличались от природы» и не имели ничего общего с буржуазным городом.

Север поразил писателя своеобразием местного уклада жизни, здесь еще можно наблюдать «остатки чистой, неиспорченной рабством народной души». Поначалу автору казалось, что «страна непуганых птиц» уже найдена им, что наконец-то удалось встретить в действительной жизни то, что «давно уже разрушено, как иллюзия».

Но это первое впечатление оказалось непрочным. Чтобы сохранить его, говорит Пришвин, нужно было «скользить по жизни», все ехать и ехать, ни на чем не задерживая своего внимания, ни о чем не задумываясь, и тогда путешественник непременно унес бы с собою радостные настроения. Но для таких целей Пришвин, по его словам, избрал неудачную систему наблюдения. Он не стал ездить с места на место, довольствуясь самыми поверхностными впечатлениями, а решил «посредством внимательного разглядывания» изучить один маленький, но характерный уголок этого края. И теперь многое выглядело уже в ином свете: «Задержавшись на месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться — исчезла иллюзия, исчезла страна непуганых птиц: живут люди, как люди»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> I. Kianto. Elämän ja kuoleman kentältä. Helsinki, 1928, s. 8.

<sup>2</sup> М. Пришвин. В краю непуганых птиц. Петрозаводск, 1957, стр. 5.

Есть здесь и кабальная зависимость «бурлаков» от лесопромышленников, и имущественное неравенство, и пьяные драки, и дикие расправы за воровство. Правда, богатеи в северной деревне не такие, как в городах, и социальные антагонизмы здесь не столь заметны. Автор даже склонен считать, что причина зажиточности отдельных крестьян заключается главным образом «в хорошей, правильно организованной семье». Он не вполне еще сознает, что и то скромное имущество («лишняя лошадь, корова, лодка и сеть»), которое первоначально было нажито честным трудом или «везением», может со временем стать орудием социального порабощения.

Одно было ясно Пришвину: Выгореция не устояла перед натиском буржуазной цивилизации. Но где спасение от нее, каковы те новые начала, на которых должна быть основана жизнь,— на эти вопросы у Пришвина не было ответа. И понимая, что прошлому нет возврата и что не все в нем было прекрасно, он все-таки не переставал грустить о том былинно-героическом времени, которое, как казалось писателю, не могло идти ни в какое сравнение с настоящим. Автор идеализирует раскольничество; общественное устройство Выговской пустыни в пору ее процветания представляется ему «образцом старинного русского самоуправления». Тогда кипела «умственная жизнь», были сильные характеры, преданность религиозной идее. Тогда люди верили в действительность былинных богатырей, а теперь только редкие старики убеждены в этом. Впрочем, как сказал автору один сказитель: «богатыри-то, может быть, и теперь есть, а только не показываются. Жизнь не такая. Разве теперь можно богатырю показаться!»

Но и в раскольничестве была непривлекательная для автора черта: аскетизм, стеснявший естественные человеческие желания. Людям предписывалось жить не «как хочется», а «как надо» по религиозным догмам. Земная жизнь объявлялась греховной, человек должен был думать только о «спасении души».

Через несколько десятилетий, в романе «Осударева дорога», посвященном советской действительности, Пришвин вновь вернулся к теме Карелии, но уже без грусти по ее патриархальному прошлому, а с глубоким пониманием исторической перспективы развития этого северного края и его народа. По-новому был поставлен и вопрос «как жить». В споре со староверами герой книги утверждает, что желания человека должны подчиняться «плану», но что этим «планом» является уже не религия, а нормы нового, социалистического общежития. В священном писании «план определен на жизнь небесную... У нас план должен быть один единственный и на земную жизнь»<sup>1</sup>.

Социалистическая явь не только сама отражалась в порожденной ею литературе, но позволила по-новому взглянуть и на историческое прошлое Карелии.

## 2

У карельских литераторов, особенно в последнее десятилетие, наблюдается тяга к созданию крупных по объему художественных произведений на материале истории края с охватом всех существенных сторон национальной жизни, когда-то чрезвычайно замедленной, почти застойной, но затем стремительно вырвавшейся вперед под воздействием могучего взрыва революционной энергии.

<sup>1</sup> М. Пришвин. Собр. соч., т. 6. М., 1957, стр. 123—124. Подробнее о карельской теме в творчестве Пришвина см.: М. Ф. Пахомова. Пришвин и Карелия. Петрозаводск, 1960.



Показать величие этого движения, полного борьбы и порывов, воссоздать не только события, но и сложную эволюцию народной психологии — от идеалов, воплощенных в рунках «Калевалы», до современного сознания строителей коммунизма — вот задача исторического романиста, выполняемая, разумеется, не в одном романе.

Здесь не обойтись лишь одними внешними приметам — ни социальными, ни национальными. Едва ли не каждый карельский писатель пытался украсить свои произведения некоторыми деталями «местного колорита», отчасти составившими уже своего рода ходячий литературный аксессуар. Прибегали и к фольклорным образам, и к карельским именам героев, и к спасительной, но удивительно односложной констатации того факта, что прежде «карел кору ел горькую». Но как бы усердно ни упоминались в стихах и прозе «Калевала» вместе с чудесной мельницей Сампо, сколько бы раз ни повторялась горькая правда о коре, этого еще недостаточно для создания национальных характеров, национального романа, повести, драмы. Персонаж не станет более национальным оттого, что автор назовет его не Михаилом, скажем, а Михкали. Нужно еще кое-что, и это «кое-что» начинает уже появляться, ко всеобщей радости, в некоторых произведениях наших авторов.

Писатели обратились к более детальному описанию народного быта, исторического и современного, их книги носят след более глубоких наблюдений над особенностями народного мышления, с учетом происходящих в нем сдвигов; в ряде героев намечаются уже черты определенного национального типа, более разнообразными становятся изображаемые характеры, обусловленные социально без той лобовой прямолинейности, какая встречалась прежде.

Наша критика уже писала об «этнографизме» в историческом повествовании Н. Яккола «Водораздел».<sup>1</sup> Мнения разделились. Одни одобряли, другие осуждали, или, по меньшей мере, предостерегали автора от чрезмерных увлечений. Но в принципе «этнографизм» не противопоставлен литературе. Вспомним Гоголя, из финской литературы Киви — с каким тщанием изучали они народные обычаи, одежду, поверья, сколько в их произведениях старинных легенд и преданий, картин народного быта, подчас не заключающих в себе, казалось бы, никакой особой идеи, но придающих повествованию аромат действительной жизни. Все дело в соблюдении художественной меры в каждом конкретном случае. Неменьшую роль здесь играет авторский взгляд на вещи. Когда Лаури Ханникайнен описывал карельскую деревню, его прежде всего восхищало то, что там все было как тысячу лет назад, как «во времена Вяйнямейнена». Подобный восторг был более чем странным у советского писателя, как бы его ни покоряла поэтическая прелесть древних рун. Для Н. Яккола застой национальной жизни не повод для умиления, а предмет горестных раздумий.

Медленно текут годы в Пиртиярви, один похожий на другой. Самые большие события здесь — неурожай, очередная выплата податей, приезд станового из далекого уездного города. А если с редким пришлым человеком и доходят сюда слухи о мировых событиях, то в головах обитателей деревни они нередко принимают очертания полублефов, в которой действительность соседствует с вымыслом. Люди эти остались где-то в стороне от столбовой дороги мировой истории, а их собственная история вся в преданиях. Есть предание и об основательнице деревни Татьяне, когда-то плененной шведским королем и затем отомстившей ему. Старик рассказывает, что прежде на этих местах жили саами, которые

<sup>1</sup> Н. Яккола. Водораздел. Повествование. Петрозаводск, 1959.

затем переселились на север, но о которых до сих пор напоминают груды заросших мхом камней — так называемые «саамские очаги». И если внимательно приглядеться, то здесь можно обнаружить не только следы внешних передвижений, межплеменных стычек и бывлой русско-шведской вражды на севере, но и признаки каких-то изменений в духовной жизни людей. Нет, и здесь история не стояла на месте, постепенно изменялись условия, изменялись сами люди, только очень медленно. Старое долго уживалось с новым, в сознании обитателей деревни можно без труда заметить идеологические напластования разных эпох.

Когда у крестьянина пропала в лесу корова, старики по языческой традиции говорили: «леший к себе увел». Люди среднего поколения, напротив, видели в этом кару божью, ниспосланную крестьянину за то, что он не соблюдал православных постов. А мальчик Хуоти с детской откровенностью, хотя и не без страха за последствия, твердит, что леших не бывает, а корову просто задрал медведь.

Примечательной фигурой как в повествовании, так и в пьесе, написанной по его мотивам, является бабка Маура. Усердно молясь православным иконам и строго требуя от всех соблюдения правил христианского благочестия, она в то же время и «язычница» — почитает разных духов, приносит им жертвы, помнит заговоры, готовит разные таинственные снадобья, вроде настоя «на щучьем сердце, мужском поте и стружках медной монеты», которым поила роженицу Дарью, свою невестку. Приверженность к старине имеет у Мауры социальный оттенок. Весь прежний уклад жизни мил ее сердцу, и воспоминания о «добром старом времени» звучат в ее устах как горький упрек новому поколению, развращаемому страстью «иметь». Возмущаясь тем, что «ныне всем народом копейка правит», Маура с бесконечной нежностью рассказывает о годах своей молодости, когда карельская деревня жила еще относительно тихой патриархальной жизнью, когда не совсем распались еще родовые связи и большая патриархальная семья с видимой общностью интересов всех ее членов. «Три рода, три больших избы было прежде в нашей деревне. Всем народом пожоги жгли да заморозки с болот гнали. По тридцати пяти душ под одной крышей жило. Было тут едоков! Но и работников хватало! А нынче что? Ссоры да распри одни — сын с отцом грызется, отец с сыном не поладил, ну и делятся, новую избу рубят — стариков и на новоселье не всегда зовут. Здоровущие мужики коробейничать подаются, чтоб деньгу зашибить, не бояться и грех на душу принять».<sup>1</sup>

Автор показывает, что даже в самых глухих карельских деревнях дает уже о себе знать процесс социального расслоения крестьянства. Богатый Хилиппя опутал бедняка долговой кабалой, заставляет их работать на себя, самовластно пользуется общинными водоемами, за бесценок берет у односельчан разные товары. Когда-то Хилиппя коробейничал наравне с другими, но потом понял, что от коробейничества не разбогатеешь. Его земляк, купец Сергеев, переселившийся в Финляндию, надоумил его заняться более крупным делом — поставлять ему, купцу, дичь, закупая ее у жителей деревни. Таким путем и разбогател Хилиппя, отсюда берут начало и его связи с финляндскими инициаторами «Союза беломорских карел». Финляндские «гости» отнюдь не довольствуются только платоническими восторгами по поводу своеобразной экзотики этого глухого края, где еще сохранились древние песни и остатки старинных обычаев. Они мечтают по-своему разбудить

<sup>1</sup> В приводимом варианте слова Мауры цитируются по пьесе: Т. Ланкинен, Н. Яккола. Глушь пробуждается. Петрозаводск, 1958, стр. 20. В повествовании (стр. 13—14) они даются несколько иначе.



эту глушь, сделав ее доступной для широкого проникновения финляндских капиталов. Русские купцы и лесопромышленники, по мнению финляндских предпринимателей, не умели поставить дело на европейскую ногу, а главное, они были прямыми соперниками, которых нужно было как-то вытеснить, и здесь финляндским идеологам пригодились национальные мстивы: финны были для карел родственным народом, а русские «чужими».

Но именно русская революция создала предпосылки для автономии Карелии, автономии социалистической, а не буржуазной, о которой, в лучшем случае, помышляли карельские националисты и их финляндские союзники. В своем повествовании Н. Яккола показывает, что еще до Октябрьской революции передовые представители русского народа распространяли в Карелии новые веяния, идеи революционной борьбы против социального и национального угнетения. С одним из этих людей столкнулся в тюрьме и Поавила, бедняк из Пирттиярви, самовольно открывший казенный склад с хлебом, чтобы спасти от голодной смерти свою семью и односельчан. Здесь в тюрьме карельский крестьянин впервые услышал от питерского токаря, большевика Михаила Андреевича, о революционной партии русских рабочих, о том, что и царские власти, и русские лесопромышленники, и карельские богатеи — это общие враги, для борьбы с которыми угнетенные всех национальностей должны объединиться.

Октябрьские события 1917 года стали известны и в далекой Пирттиярви. Хотя на первых порах, как замечает автор, жизнь в глуши мало чем изменилась — люди по-прежнему обрабатывали свои поля, охотились и ловили рыбу, но их думы и ожидания все более связывались с исходом великой борьбы в России. Чтобы показать эпизоды этой борьбы и в какой-то мере передать динамизм эпохи, во второй книге своего повествования автор описывает события не только на берегах Пирттиярви, но и «в других местах», что отражено уже в заглавии книги. Это стремление вполне естественно, но оно не получило достаточного художественного воплощения. Критика уже отмечала, что вторая книга слабее первой.

Одна из бед многих карельских писателей-прозаиков и поэтов состоит в том, что они чаще всего спешат изложить *результаты* сложных процессов, психологических и социальных, вместо того, чтобы художественно воспроизвести их в моменты наивысшей кульминации. Изменение строя чувств и мыслей человека может подготавливаться медленно, словно исподволь, и, в зависимости от конкретного художественного замысла, писатель может описывать этот «подготовительный период» с разной степенью детализации. Но в какой-то момент неизбежно наступает духовный кризис, исход которого может быть различным, но который как раз и привлекателен для художника, если только он хочет раскрыть характер своего героя в наиболее существенных его проявлениях. У каждого бывают эти моменты «борения страстей». Каким бы идеальным ни был герой, жизнь не стоит на месте, она вносит свои коррективы даже в те убеждения, которые еще вчера представлялись безупречными, а отказ от былых верований, если они были по-настоящему глубокими, никогда не проходит без душевной борьбы, без того, чтобы в человеке не раскрылось все благородное, все лучшие его нравственные качества.

Драматизм революционной эпохи не вполне ощутим и в повествовании Н. Якколы. Здесь сталкиваются друг с другом представители разных социальных сил, но в художественном отношении намеченные коллизии не до конца исчерпаны. Во второй книге автор стремится к боль-

шей экспрессивности и лаконизму, чем в первой, но поскольку повествование развивается преимущественно в плане констатации, а характеры разработаны недостаточно, то внимание читателя рассеивается, ему трудно сосредоточиться и удержать в памяти и лица, и общую картину. Той целостности представления, какая создается при чтении первой книги, здесь уже нет.

В пьесе «Глушь пробуждается»<sup>1</sup>, написанной Н. Яккола совместно с Т. Ланкинемом по мотивам «Водораздела», уже по законам самого жанра потребовалась значительно большая концентрация материала, большая определенность характеров и четкость сюжетных линий, с перегруппировкой некоторых эпизодов и введением новых. По сравнению с повествованием эта пьеса, на мой взгляд, более совершенна. В ней достигнута естественность развития драматического действия, логическая его последовательность. Характеры отличаются своеобразием. Степенного и деловитого Поавила, с его серьезным отношением к жизни, не перепутаешь с балагуром Хуотари, умеющим облегчить себе душу песней и веселой шуткой. Привлекательна также своенравная, неуступчивая Сандра, мечтающая о тихом семейном счастье, полная достоинства и способная отстоять свою любовь. В Хилиппя подчеркнута не только жажда богатства и власти, не только презрение к деревенской голытьбе и лесть сильным мира сего, но и другая сторона его характера: под воздействием любви в нем пробуждается «широкая натура» купца, готового щедро истратиться на желанную для него женщину, чтобы разодеть ее в шелка и затем похвастаться перед финскими богатеями своей «карельской царевной».

Большую идейную нагрузку в пьесе несет образ русского политического ссыльного Ивана. Вопреки наговорам властей, жители деревни видят в нем честного человека, уважающего труд и обычаи тех людей, в чью среду его забросила судьба. Они не верят, что такой человек мог быть преступником и убийцей. Но при всем их уважении к нравственным его качествам, им долго остаются непонятными его политические убеждения. Нужны были жестокие уроки жизни, чтобы карельские бедняки постепенно стали прислушиваться к новым для них идеям непримиримой классовой борьбы и возвысились над патриархальными представлениями о гуманности и справедливости. Используя каждый случай столкновения интересов бедноты и богачей, Иван терпеливо разъясняет сущность господствующих общественных отношений. Правда, некоторые коллизии авторы пьесы решают облегченно. Слишком водевильно выглядит, например, эпизод с переодетым в медвежью шкуру Хуотари. А в сцене ареста Поавила, разуверившегося отчасти в своих упованиях на «законность» и совершившего первый шаг по пути активного сопротивления угнетателям, нет настоящего драматизма, хотя она, по авторскому замыслу, должна быть кульминацией пьесы.

Несколько искусственным, с точки зрения логики развития характера, представляется заключительный монолог Мауры, в котором она призывает своих земляков извлечь урок из былых заблуждений.

Тропку мы теперь сыскали,  
Новую нашли дорожку,  
Чтоб идти по белу свету,  
Да нигде не спотыкаться.  
Вам не след ходить сутулясь,  
В три погибели сгибаться.

<sup>1</sup> Т. Ланкинен, Н. Яккола. Глушь пробуждается. Петрозаводск, 1958.



Вскиньте головы повыше,  
 Чтоб под стать могучим елям,  
 Стройным соснам на пригорке,  
 Да ступайте тропкой тою  
 Светлой зореньке навстречу.

Старушка Маура, еще недавно печалившаяся об уходе патриархальных обычаев, никак не подготовлена для изречения этого символического призыва идти смело вперед по «новой тропке» классово-борьбы. Призыв этот скорее принадлежит не ей, а Ведущему, если бы таковой имелся в пьесе и если бы это не переключало ее из реалистического плана в условный.

## 3

В романе А. Тимонена «Родными тропами» есть беседа двух старых карелок — Яковлихи, матери Вейкко Ларинена, и Теппанихи, ее соседки. Для старушек, весь век свой проводивших в деревне, нынешняя их жизнь в райцентре непривычна, они не могут забыть о былых днях, и вокруг этой темы неотступно вертятся их мысли. Заведомо зная, что все рассказываемое ею неправда, Теппаниха вспоминает о том, как много раньше было «сига да ряпушки», сетей и лодок в доме и как ее жених приехал свататься на паре бойких коней. Собеседница поддакивала ей во всем, хотя, как пишет автор, «Теппаниха и сама понимала, что Яковлиха помнит, как все было, но что она могла поделаться с собою, раз ей так хотелось приукрасить прошлое. Свою ушедшую молодость вспоминали старушки, а не сигов и лошадей, которых у них и в помине не было. Они угрюмо посматривали на желтоватую песчаную грудку перед окном, и им невольно вспоминался синий простор родного озера Сийкаярви. Яковлиху уже давно угнетал полумрак в доме, и она сердито сказала:

— Вовсе заслонили божий день!»<sup>1</sup>

При чтении этой сцены невольно вспоминаешь о старушках, с которыми мне довелось рыбачить на пустынных северных озерах. Им обоим уже под семьдесят, но это на удивление крепкие еще люди — так сохраняются только крестьянки. Ничем не выдавая своей усталости, они способны часами сидеть на веслах или тащить тяжелые кошеле с грибами, и если вы несете с ними равную ношу, только чувство неловкости побуждает вас не отставать и не просить передышки. Женщины эти с детства росли вместе, и одна из них до сих пор зовет свою подругу как в детстве: Дуня. А в Дуне и впрямь сохранилось что-то девичье — в ее звонком напевном голосе, в ее непосредственном восприятии жизни и умении рассказывать о ней так, что даже самые обыкновенные события приобретают какую-то значительность, окружаются элементами сказочности, оставаясь в то же время правдой, но это уже не правда простого факта, а образное повествование о нем.

Вот и эти старушки не находят себе покоя и, чтобы занять себя, с ранней весны до поздней осени совершают рыболовецкие странствия по окрестным озерам. Берут снасти, запас еды, одежду по сезону и добывают до одной из рыбацких избушек, которых немало построено по разным местам. Сначала я долго не мог понять, что их больше всего привлекает в этих странствиях. Рыбы они не продают и, хотя клянутся, что сами без нее и недели прожить не могут, едят ее мало, больше дарят близким да соседям. В то же время рыбная ловля для них как будто

<sup>1</sup> А. Тимонен. Родными тропами. Петрозаводск, 1958, стр. 86.

и не отдых, особенно с точки зрения городского человека. Ведь им приходится десятки километров грести, чтобы ехать на груженной лодке, иногда тянуть ее волоком по вешнему снегу, когда выезд начался слишком рано, или преодолевать первый осенний ледок, если они слишком замешкались в своем предзимнем походе. А в избушке тоже не всегда весело. Весной в ней и холодно, и воды чуть ли не по самые нары, и вся она вот-вот сорвется с места и поплывет по бурному половодью. Домашние не пускают старух в эти странствия, опасаясь за их здоровье. А им все равно не сидится дома, и, глядишь, опять снаряжают они новую «экспедицию» недели на две-три.

Рассказывают они о своих приключениях, о том, как не раз с медведями встречались, выразительно при этом охают — для большего впечатления! — и сами же смеются над своей рыбацкой страстью, даже «неразумными дурами» себя называют, а на вопрос, что же их тянет в леса, почему они дома не сидят, отвечают: «Дома воздуха не хватает», — и опять смеются. Смеялся и я, потому что очень уж забавно звучали эти сетования на нехватку воздуха в небольшом тихом селе, вдали от городов и промышленных центров. Но в то же время с каких разных точек зрения можно взглянуть на этих старушек и как по-разному могли бы изобразить их писатели, в зависимости от своего миропонимания. Ну чем, казалось бы, эти старушки не герои, сошедшие с книг Лаури Ханникайнена, романтические дети природы, задыхающиеся среди всемогущей цивилизации и ищущие если не полного избавления от нее, то по меньшей мере временной передышки от суеты сует культурного мира? В буржуазных странах, в той же Финляндии, где под бременем неразрешимых в пределах существующего строя общественных противоречий многие писатели встревожены вопросом: «К чему ты идешь, культурный человек?» — и даже пишут книги с подобным заглавием<sup>1</sup>, — в этих странах и сейчас возможна более или менее убежденная идеализация патриархального уклада жизни, и не только в литературе, но и в сознании определенных слоев крестьянства.

Такими убежденными приверженцами старины можно было бы изобразить и упомянутых мною старушек, но все дело в том, что этой убежденности у них нет, она сменилась комическим отношением к традиционным когда-то представлениям. Старушки сами не верят в то, что говорят, они не могут относиться к своим привычкам без смеха и уж вовсе не ожидают серьезности от собеседника. Напротив, они способны одернуть любого хвалителя «прежних порядков», если дело пойдет всерьез. Не даром у одной из них муж погиб в борьбе за установление советской власти, а сын — на полях Великой Отечественной войны.

Но рыбацкая беседа есть рыбацкая беседа, а охотничья страсть тем более имеет свои неожиданные превратности. Тут на что только не поспеешь, если и комары заели, и удачи нет. В такие вот минуты и старушки, подобно Теппанихе из романа «Родными тропами», обязательно вспомнят о добрых старых временах, когда и сети вязали из самой что ни на есть грубой пряжи, но рыба-де все равно попадалась, не то что нынче, когда и плотва модницей стала — капрон ей подавай. Всегда ли попадалась раньше рыба или нет, это разговор особый, тут не след до всего докапываться, иначе вся острота сравнения пропадет. Тут слово дорого, а смысл не всегда прямой у него, в нем и шутка и намек. Ведь рассказывают же про одного острослова, который в ответ на неумеренные похвалы старине невозмутимо заметил, что-де чего уж говорить,

<sup>1</sup> M e n d N., von. Minne olet menossa, kulttuuri-ihminen. Helsinki, 1934.



раньше не только рыба, но и волны на озере другие были — настоящие, не то что теперь — просто глядеть тошно.

В свое время финский писатель Юхани Ахо написал рассказ о том, как в глухой деревне появилась первая керосиновая лампа. Дети восторгались этим чудом, соседи приходили поглядеть на него, только один старик, работник в доме, не радовался новшеству и, верный старине, переселился в баню, чтобы по-прежнему коротать свои вечера с лучиной.

А совсем недавно советский писатель Ю. Рытхэу, сын маленького, когда-то забитого и отсталого народа, напечатал очерк,<sup>1</sup> в котором рассказал о старике-чукче, очень недовольном тем, что разные ученые люди слишком часто спрашивают его о старых обычаях и преданиях, между тем как сам он хочет больше думать о будущем своего народа, о новых делах в мире, более удивительных, чем чудеса древних сказаний.

Эти примеры не опровергают друг друга. Ахо в своем рассказе не написал неправду. Но он писал о другой эпохе. Крестьянину веками была свойственна известная консервативность мышления, известное недоверие к новшествам, поскольку они не изменяли коренным образом его положения. В условиях буржуазного гнета, когда настоящее было темно и безотраднo, крестьянин нередко идеализировал докапиталистические общественные формы. Будущее плохо открывалось его взору, и хотя он мечтал о лучшей доле, но мечта эта либо оставалась утопией, выключенной из реальных общественных закономерностей, либо была обращена назад, в историческое прошлое. Разве сама «Калевала» не есть в какой-то мере идеализация первобытно-общинного строя, счастливого века Вайнямейнена, века, с которым рунопевцы, как и старушка Маура из повествования Н. Яккола, невольно сраивали настоящее, причем всегда в невыгодном для последнего свете.

Даже после Октября эта инертность крестьянского сознания преодолевалась не сразу. Отказ от старины также и для некоторых поэтов был актом сознательного самоограничения. Можно напомнить, например, о молодом Борисе Корнилове, который в 20-е годы многое заимствовал от поэтической манеры Есенина, за что и был причислен к ряду «есенинствующих». В его стихах часто появлялся образ старой былинной Руси с ее бубенцами и ямщицкими песнями, ухарством Васьки Буслаева и жаркими поцелуями «полонянки» с раскосыми глазами. Поэт говорил, что ему не жаль расставаться с этой русской стариной, потому что рядом с ее расцвеченной сказочностью была и другая, уже совершенно реальная, ужасающая своей косностью, «замшенная как стена», та старина, которая где-нибудь «на Керженке» сохранялась и в первые послереволюционные годы, сопротивляясь новой жизни.

Девки черные молятся здесь.  
Старики умирают за делом.  
И не любят, что тракторы есть —  
Жеребцы с металлическим телом.

Но любопытна концовка этого стихотворения: поэт словно смущен своим повествованием об этом глухом крае, о «желтобородой родине», где «медведя корежит медведь», и резко обрывает себя: «Замолчи! Нам про это не петь». Сама тема старины, даже при ее отрицании, уже не удовлетворяла поэта, он сознательно направлял свое внимание на то новое, что породила революция.

<sup>1</sup> Ю. Рытхэу. Поездка в Уэлен. «Правда», 1959, 20 ноября.

Нечто подобное происходило в ту пору, во второй половине 20-х годов, и с Леа Хело. Ведь он тоже родился в деревне, хотя и близкой к крупному городу, но тогда еще сохранявшей некоторые черты патриархальности. Деревня трудно расставалась с вековыми традициями, да и сам поэт, покинув ее, часто вспоминал о ней, согласовывая ее милый образ с новыми представлениями о жизни. Так появились его стихотворения «На родине» и «Ткачиха». В первом из них есть примечательная деталь. Передаваясь «есенинской» радости узнавания родных мест с заснеженными черемухами и кленами, с низенькой потемневшей избушкой и псом у колодца, поэт вместе с тем подчеркивает, что хотя все казалось «как прежде», хотя «все это давным-давно знакомо, но стремления у людей новые». Впрочем, как Борис Корнилов в одном из своих стихотворений бросает ветхозаветной старушке, расхваливающей домостроевские обычаи, жестокие слова: «Ты, бабушка, скоро умрешь, скорее, чем бойкие дочери», так и Хело в погоне за контрастностью перехлестывает через край, уверяя, что в деревне и «старики уже умерли», — в пору подумать, что они поспешили сделать это с умыслом, лишь бы скорей уступить место новому поколению. Но, извиняя поэтам этот юношеский эгоизм, надобно заметить, что сама эта слабость была не более как «издержкой» азартного их желания резко оттолкнуться от прошлого, ничуть о нем не сожалея. В лучшем случае на долю старины остается только понимание, понимание без уступки. В «Ткачихе» Хело говорит о матери, мечтающей о том, чтобы сын вернулся из тревожного мира в ее спокойную избушку:

По той тишине не тоскую,  
О матери помня своей,  
Я вижу, как трудно бывает  
Понять матерям сыновей.  
Домой не могу я поехать,  
Но знаю: разлив там, весна.  
Ткачиха глядит на дорогу,  
Ставины стучат у окна.

С тех пор многое изменилось в нашей жизни, в психологии народа, всех его слоев. Иные из тех бабушек и стариков, о которых писали поэты, действительно умерли, так и не постигнув духа нового общежития. А другие научились сами добродушно смеяться над своими привычками, и если не могут забыть о них совершенно, то никоим образом не противопоставляют их общему течению жизни. Современная нам эпоха преисполнена такого динамизма, такой зримой и убеждающей устремленности в будущее, что никакая идеализация прошлого уже не имеет под собой почвы, даже в сознании таких старушек, как Яковлиха. Прошлое, какими бы сказочными атрибутами ни расцвечивать его, бледнеет перед настоящим, когда древние сказки становятся явью, когда человек вот-вот сможет полететь на другую планету. В этих условиях привязанность к дедовским обычаям воспринимается как нечто забавное. Пожилые карелки еще могут посетовать, что в выросшей за эти годы деревне им «не хватает воздуха», но им самим эти слова кажутся смешными, в семьдесят лет их еще тянет в лес, потому что, выражаясь словами Бориса Корнилова, они привыкли даже «умирать за делом», но в своей страсти к продолжительным лесным странствиям они сами видят нечто вроде старческой слабости, отлочно понимая, что это не уклад жизни для современных поколений. У них нет и тени враждебности к новой культуре, они в ладах с нею, это чувствуется уже по тому, с каким уважением говорят они о своих образованных детях и внуках.



Они сердцем понимают, что люди наши возвращаются «родными тропами» в отдаленные деревни не для того, чтобы укрыться там от сложностей жизни в «большом мире», но чтобы продолжать наступление на глушь, строить там новые селения, развивать новую культуру. А если старушкам по привычке и случается вздыхать о «добром старом времени», богатом рыбой и прочими благами, то это лишь традиционная форма беседы, в содержание которой они сами уже не верят, но ведут ее, словно играют роль, отлично сознавая ее условность.

Вот в этой игре, в этом несовпадении сущности и формы заключена одна из тех комических ситуаций, которые особенно привлекательны для художника. В этом незначительном и по-житейски обыденном, казалось бы, явлении есть более глубокий смысл. В сознании одного человека здесь сталкиваются два исторических типа мышления, но столкновение это не из серьезной драмы, а веселой комедии. Здесь нет той сложной душевной борьбы, какой стоило, скажем, Кондрату Майданикову его решение расстаться с прежним укладом жизни. Даже в старческих воспоминаниях жизнь эта лишена теперь привлекательности, а если ей и вздумается кое-когда блеснуть своим старомодным платьем, от этого бывает смешно даже самому рассказчику. Это здоровый смех, он нужен для того, писал Маркс, «чтобы человечество *весело* расставалось со своим прошлым»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве. Т. I. М., 1957, стр. 54.